

книжными богатствами, автор мог познакомиться со всей научной литературой; перед нами работы многих лет, и автор потрудился во многих библиотеках и музеях. Действительно досадно, если научный мир не познакомится с этой книгой.

(Перевод с итальянского.)

1926

Поэт славянского возрождения Вячеслав Иванов

<Фрагменты>

Фамилию унаследовал от предков — самую распространенную в России фамилию, распространенную в такой степени, что когда в литературе хотят кого-то охарактеризовать как «среднего» русского, то ему дается фамилия Иванов (ср. драму Чехова именно под таким названием). Имя же получил от своей матери, и этот выбор был доказательством ее «славянофильства» — не официального, неприятные черты которого нам даже слишком известны, но того другого, либерального, которое также витало в русском обществе в те либеральные «шестидесятые годы», когда собственно и родился наш поэт (16 февраля 1866 г.). То, что в конце концов он стал поэтом, — также отвечало желанию его матери, которая в этом плане была похожа на героиню «Небожественной комедии»¹; но то, как он им стал и в каком направлении, — уже было влиянием его собственной путеводной звезды, бег которой, капризный на вид (так мнима ретроцессия Марса), я наблюдаю с симпатией со времени моего знакомства с ним, то есть тридцать лет.

А сблизил нас общий идеал «славянского возрождения»; термин создал я, но в употребление его ввели мы оба, каждый соответственно широте своих дарований. А так как этот идеал должен иметь решающее влияние на дальнейшее развитие общеславянской, а следовательно и польской культуры (которая только под этим знаком может достичь своего зенита и стать равноправной в семье европейских народов), — то уместно будет посвятить ему несколько вступительных слов.

II

О возрождении или о ренессансе не раз шла речь в истории европейской культуры со времен упадка античного мира: был «ренессанс Каролингов», «ренессанс Оттонов» и т. д., — всегда в смысле усиленного, после периода некоторого затмения, влияния античности на современные умы. Но по-настоящему культурный мир испытал только два великих возрождения.

Первое датируется четырнадцатым столетием; родившись в пророческом уме Петрарки, оно охватило постепенно Флоренцию, позже — остальную Италию, за ней всю Западную Европу, не исключая и Польши. Однако настоящий его расцвет произошел кроме Италии только во Франции и в полуроманской в те времена Англии; в этой последней оно дало миру своего самого великого поэта Шекспира, а во Франции — чрезвычайно влиятельный и властный классицизм, предел которому положил только знаменитый и фатальный для французской литературы «спор древних и новых» в конце XVI века. Исходя из сказанного мы вправе это первое великое возрождение называть «романским возрождением».

Второе возникло в Англии XVIII века, в то время вполне англосаксонской, и благодаря спасительному объединению ганноверского электората с английским королевством перекинулось оттуда в Германию, где должно было произвести на свет своего самого великого поэта Гете и сиять на весь остальной европейский мир, опять же не исключая Польши, но тем самым и России. Это второе возрождение мы можем, следовательно, справедливо назвать возрождением германским.

Таковы были те два великих возрождения. Оба затронули и славянский мир, но ни то, ни другое не было им создано. Ведь до сих пор культурный баланс славянского мира пассивен; разве нельзя мечтать о том, чтобы он стал активным. Путь к этому указан первыми двумя возрождениями: путь единственный, но безошибочный.

<...>

III

Возвращаясь к нашему поэту, позволю себе сослаться на одну свою статью... Я напечатал ее в 1899 г., еще не зная В. Иванова,

в одном русском журнале, в честь другого поэта, поэта старой школы и второго ряда, хотя в своем роде очень симпатичного: А. Майкова. «В наше время» пишу я там, «поэт возрождения должен быть в значительной мере также исследователем, и исследователем добросовестным и терпеливым. Те идеи античности, которые лежали на поверхности и могли быть обнаружены без труда, уже давно усвоены человечеством: произошло это в эпоху первого, романского возрождения, которое дало нам Шекспира. Уже в эпоху второго, германского возрождения нужна была глубокая пахота с целью добычи нижнего слоя античности; в еще большей степени она нужна сейчас, когда речь идет о реализации третьего, славянского возрождения»².

Я не знал тогда, повторяю, что тот, кто должен был стать наиболее влиятельным выразителем этого возрождения с русской стороны уже приступил к этой части своего задания: путеводная звезда В. Иванова привела его в самую лучшую школу классической филологии, сделав его учеником, одним из последних, великого Теодора Моммзена. Плодом его занятий у Моммзена стал трактат, написанный к тому же по-латыни, причем вполне хорошей латыни, о сообществе публиканов (т. е. откупщиков общественных доходов) в древнем Риме. Трактат был, однако, издан только значительно позже, в 1909 г., — потому что та, которая должна была стать женой Иванова и верной спутницей его жизни на русском Парнасе, открыв в нем поэта и не понимая значения классической филологии для его призвания, оторвала его от избранного жизненного пути, желая, чтобы он полностью посвятил себя поэзии.

Но эта ретроцессия ни к чему не привела: единственным результатом стали трудности в будущей профессиональной деятельности Иванова. Об этом лучше всего знаю я: как нелегко мне было провести его кандидатуру, ученого без степени, на должность профессора античной литературы в одном из университетов Петербурга! Сам же он стремился вернуться к покинутой науке, но уже под ауспигиями другого наставника. И здесь я позволю себе еще раз сослаться на цитированную в первых строках этого раздела статью. Говоря в ней о вакхических сценах у А. Майкова, я выразился следующим образом: «Но это — вакхизм александринских барельефов, красивых и сладострастных, так и располагающий душу к мечтательности и неге, почти тот самый, который мы находим и у Батюшкова, и у Пушкина, это не тот

демонический вакхизм, которым дышат «Вакханки» Еврипида, не тот стихийный, восторженный экстаз, в котором человек впервые почувствовал свое единство и с природой и с божеством и бессмертие своей божественной души. А между тем — это, пожалуй, и есть та почва на которой произойдет слияние между греческим и славянским духом; не даром полуславянин Фр. Ницше первый ее открыл и возвестил о ней в своей дивной, поистине вакхической, книге о «рождении трагедии»³.

Фридрих Ницше, и был, собственно, тот, второй, наставник В. Иванова.

IV

Его первым шагом в качестве поэта было издание сборника лирических стихов под названием «Кормчие звезды». Этот шаг был, кстати сказать, неожиданностью для самого автора: его жена⁴ без ведома мужа показала стихи известному философу В. Соловьеву, и тот нашел в них то, что считал главным, — «абсолютную самостоятельность», не особо, впрочем, восторгаясь «ницшеанством» молодого поэта и считая, что оно задержит его ненадолго.

Отчасти он был прав. Потому что Ницше для Иванова был скорее примером, чем образцом. Соединение смерти и возрождения в лице Диониса (знаю, что такое толкование плоско и убого, но более глубокого пока не нахожу) сильнее впечатлило Иванова, чем идея Диониса как выразителя всеобщей Воли — идея, которую глубоко и правильно, воспитанный на философии Шопенгауэра, также открыл и воссоздал Ницше. Рядом с Дионисом встала другая «кормчая звезда», до этого осветившая пророческую душу великого предшественника нашего поэта — Гераклита. Идея первичного огня, всёпорождающего и всепожирающего, рождающего для уничтожения и уничтожающего для возрождения — эта идея вполне естественно дала объединить себя с идеей Диониса, умирающего и возрождающегося, Диониса-Загрея, растерзанного Титанами, и Диониса — сына Семелы, возрожденного в своей улыбающейся, завораживающей молодости. Взятые вместе, эти две идеи оплодотворили пламенный ум поэта; им он обязан самыми прекрасными и самыми сильными своими стихами.

Первым сборником были «Кормчие звезды», о которых шла речь выше; где второй цикл посвящен собственно «Дионису».

Следующим — «Прозрачность». Третьим и главным — «Cor ardens» в двух частях. Четвертым и пока последним — «Тайна»⁵, по-настоящему понятная только свидетелям личной жизни поэта. Добавим к тому еще две символистские трагедии — «Тантал» и «Дети Прометея»⁶; — такова совокупность поэтического наследия нашего поэта-прорицателя.

Говорить о нем — дело непростое. Ведь не могу же я приводить иллюстрирующих цитат в оригинале; прозаический перевод был бы настоящим «предательством» согласно итальянской поговорке *traduttore-traditore*. Попытку поэтического перевода сделает, видимо, кто-то другой: однако предупреждаю, что задание это — не из простых. Ибо язык Иванова — язык особый, присущий только ему одному, предмет безграничного преклонения его друзей и, естественно, частых нападков его противников. Обогадив, как поэт-исследователь, свое воображение достижениями античного мира, равно как и плодами двух предыдущих возрождений (напомню при этом, что Петрарка и Гете принадлежат к его любимым авторам), он очень часто не находит в своем родном языке соответствующих слов для деликатных оттенков теснящихся в его уме понятий. И в то же время он даже в малейшей степени не «лжет чувству», довольствуясь каким-либо смежным, так сказать, выражением. Роемся в древнерусском языке, не избегая совсем устаревших слов: отсюда многочисленные архаизмы в его стихах, очень приятные — не для всех, но для многих; если же он не найдет того, что ему необходимо, то хватает молот и кует, кует так долго, пока из существующих элементов не выкует того, чего жаждет. Но — тем не менее — держится в границах необходимости. Влечения к созданию любой ценой «неологизмов», хотя бы и избыточных, чем болеют многие из его соотечественников, и наших тоже — он не чувствует и не признает вовсе.

Я также сомневаюсь, что в польском переводе могло бы быть передано разнообразие его стихотворных форм: здесь уместно констатировать — с сожалением — большую гибкость русского языка. А впрочем не скажу, чтобы Иванов и в этом удержался в границах необходимости: веря в свои силы, он нередко стремится навязать своему родному языку такие формы, которые находятся в несомненном противоречии с его духом, как, например, индийские шлоки или немецкие стихи с неопределенным количеством безударных слогов между ударными: ведь русский

язык, подчиняя силлабический принцип тоническому (чего не делает наш язык), не отвергает, однако, силлабичности (что позволяет себе немецкий стих). Естественно, если В. Иванов, руководствуясь немецким принципом, напишет такое чудное стихотворение, как «Аттика и Галилея», то часть очарования придется отнести на счет стихотворной формы; но это не является доводом.

VI

Не удивительно, что с таким талантом и с такими достижениями Иванов стал главой школы поэтов, которые собирались у него на Башне, т. е. попросту в его квартире на пятом этаже, как это было принято у «интеллигенции». Это были знаменитые в те времена «ивановские среды». Принимал участие в них также и я — естественно не как поэт, которым я не был, но как сторонник «славянского возрождения», и эта идея сблизила меня с хозяином и со многими из его гостей. Там я увидел немало необычного благодаря разным экстравагантностям стихотворствующей молодежи, но также немало искренних и плодотворных порывов. К сожалению, эти среды просуществовали недолго: болезнь хозяйки положила им конец.

Вскоре после этого поэт по причинам, говорить о которых было бы не деликатно⁷, покинул Петербург и переехал в Москву: из-за этого исчез с моего горизонта. В Москве застала его революция. Имея, как поэт, почитателей в стане победителей, он не был ею задет столь болезненно, как многие другие: смог даже провести один из летних месяцев 1920 г. в «доме отдыха», устроенном в аристократическом дворце после бегства хозяев. Отдельной комнаты, следует заметить, не получил — из-за политики «уплотнения»: к счастью, его товарищем по комнате оказался интеллигент, бывший коллега студенческих лет М. Гершензон⁸. Это совместное проживание приводило к весьма оживленным дискуссиям на темы вечные и вечно близкие: так как не только их кровати располагались в противоположных углах общей комнаты, но и сами они были мировоззренчески разделены целой диагональю: между радостной верой и скепсисом. Решено было зафиксировать эти споры в форме переписки, — так возникла интересная книжечка, состоящая из двенадцати писем и изданная под оригинальным названием «Переписка из двух углов».

Именно она, почти одновременно переведенная на французский (изд. Р. Корреа 1931) и итальянский (изд. Л. Карабба 1932, Ланчиано) языки, познакомила заграничный мир с нашим поэтом как философом.

Эта «ретроцессия» была только кратковременным эпизодом; после него видим Иванова профессором классической филологии — в Баку. Но недолго славянский Дионис терпел испарения нефти: покинув надкаспийскую Пальмиру, он перенесся на родину своей мечты, в Италию, и там пребывает до сих пор — почти семидесятилетний старец, профессор университета в Павии.

Таким его представляет прилагаемый портрет — на фоне прекрасного Collegio Borromeo, в котором он живет как один из его «тьюторов». Филолог, философ, поэт — он был до сих пор пророком своего отечества, почти неизвестным, а следовательно, и непризнанным за границей. Теперь же, однако, кажется, что и его время пришло.

(Перевод с польского.)
1933

